**«ОН БЫЛ ПОХОЖ ТОЛЬКО НА РУССКОГО**

**И ЕЩЁ НА СЕБЯ САМОГО»**

**Исполнилось 200 лет со дня рождения Аполлона Григорьева**

«Лучшее украшение нации – лица, богатые дарованиями и самобытностью», – утверждал К. Леонтьев. Аполлон Александрович Григорьев (1822–1864) был и сам «лицо», и все его сочинения были исканием «прекрасного в русской жизни и русском творчестве», «поэзии в самой русской жизни, а не в идеале». Его идеалом была «богатая, широкая, горячая русская жизнь, если можно, развитая до крайних своих пределов и в добродетелях, и даже в страстной порочности», – писал мыслитель Н.Н. Страхов, не отрицая «наше, полуевропейское недавнее прошедшее», к которому, однако, невозможно «относиться без теплоты», потому что «в нем мы видим элементы, без которых не может обойтись богатая национальная культура и жизнь; мы бы желали только, чтобы эти обилие элементы приняли бы более русские формы».

Леонтьеву нравилась и наружность литератора: «его плотность; его добрые глаза, его красивый, горбатый нос; покойные, тяжелые движения, под которыми крылась страстность. Когда он шел по Невскому в фуражке, в длинном сюртуке, толстый, медленный, с бородкой; когда он пил чай и, кивая головой, слушал, что ему говорили, он был похож на хорошего, умного купца, – конечно, русского, не то чтобы на негоцианта в очках и стриженых бакенбардах!» Страхов добавлял к этому портрету своё любование: он был среднего роста, с прекрасной наружностью, поражающей «соединением силы и грации; в нем была грандиозность, так шедшая к его напряженной натуре». Серые глаза с необыкновенным блеском. Нос орлиный. Руки «малы, нежны и красивы, как у женщины».

Сам же А.А. Григорьев как русский человек нашёл наилучшее воплощение русскости в нашей литературе: это А. Пушкин – «единственный
полный человек, единственный всесторонний представитель нашей народной физиономии», потому что ему «было дано непосредственное чутье народной жизни и дана была непосредственная же любовь к народной жизни». «Пушкин не западник, но и не славянофил», а «русский человек, каким сделало русского человека соприкосновение с сферами европейского развития». Почвенность его коренилась в языке: он «свято чтил народ, религиозно боялся солгать на народ, на склад его мышления, чувства, на способ его выражения... Видно глубоко запали в эту великую и восприимчивую душу сказки няни». Дочь Бориса Годунова Ксения в его драме плакала о своём женихе «русским песенным складом», без всяких украшений: «Милый мой жених, прекрасный королевич…»

У Григорьева были основания судить так, ибо он сам рано изучил «все тонкости крепкой русской речи» и от кучера Василия наслушался сказок о батраках и их хозяевах, и этого кучера во многих отношениях он считал «своим воспитателем», почти наполовину равным своему первому учителю. Отсюда его негодование против фальши литературных романов о русской жизни. Его задевало, что М.Н. Загоскин как романист пользовался «совершенно невероятным и необъяснимым» успехом.
И, считая этого автора одним «из отраднейших явлений нашего старого быта», натурой в высшей степени нежной и добродушной, хотя и ограниченной, Григорьев понимал, что он имел «карикатурное понятие» о быте предков и быте народа, тем более что испытывал «любовь к застою» и умиление перед ним, поскольку признавал у него «одно только свойство – смирение». Притом «смирение вовсе не в славянофильском смысле, смысле полнейшей *общинности* и *законности* – a в смысле простой бараньей покорности всякому существующему факту», «совершенно спокойное отношение ко всякому самодурству». Чем дальше, тем все ярче выступали в его произведениях черты «невежественного барства и умиления перед пошлостью доброго старого времени». Это вызывало протест у критика: «Бедный русский человек! Его показывали нам или нравственным евнухом, или дворовым скоморохом, или Юрием Милославским, или Торопкой Голованом!» Романы Загоскина «изображали понятия и нравы екатерининских времен, с подделкой под язык простонародья, без малейшего знания этого языка».

Вот и в «Ледяном доме» «все фальшиво (кроме чисто исторических фигур)». Зато в персонаже Волынском, «неверном исторически, неверном, пожалуй, и психологически – сколько удивительно угаданных черт русского человека, до того поэтических и вместе с тем истинных, что доселе еще Волынский Лажечникова – единственный тип широкой русской натуры, поставленной в трагическое положение...» Это сцены: «вставай народ», «умирай народ»; пирушки; ночной прогулки с ямщиком; свидания с женою, где беспощадно обличалась вся «бесхарактерность широкой русской натуры», недостаток выдержки ей свойственный. В нём вся целостность «могучей и бесхарактерной, широкой и вместе развратной личности».

Карамзин же для критика пример двойственной идентичности: русской и европейской. До 1812 года он является «первым вполне живым органом общеевропейских идей» и впервые прививает их к нашей общественной и нравственной жизни. Он был первый «живой и действительный талант» в русской литературе. Его «Письма русского путешественника» – «книга удивительная». «Впервые русский человек является в ней не книжно, а душевно и сердечно сочувствующим общечеловеческой
жизни» (не то что записки Фонвизина о его путешествии – «гениально-остроумные заметки» «дикого человека»). «В Европу из далекой гиперборейской страны впервые приехал европеец, и впервые же русский европеец передал своей стране свои русско-европейские ощущения» – не поучительно, а легко и общепонятно. Он перевернул нравственные воззрения образованного общества. Карамзин – «вполне русский человек», предъявил к жизни «требования высшего идеала», выработанные человечеством, взял за основу общезападные формы «доблести, величия, чести». Но идеал оказался несостоятельным. Став историком государства Российского, он взглянул на нашу историю под европейским углом зрения. У него нет мысли, что «мы – племя особенное». Его первые тома чужды миросозерцанию наших летописей, но затем он крепнет и чем больше сливается со старой Русью, тем более становится русским. Он русский европеец – «участник великой жизни, совершающейся на западе Европы». Он – «наш отзыв на всю кипучую умственную деятельность западной жизни». Вместе с тем, глубоко изучавший источники, «постоянно однако обманывает сам себя и своих читателей аналогиями и постоянно скрывает сам от себя и от читателей все неаналогическое с началами и явлениями западной, общечеловеческой жизни».

А. Григорьев вполне разделял мнение П. Чаадаева, отрицающего фальшивые представления о народности, однако укорял его: «Вместо того чтобы сказать как аналитик: “Русская жизнь, как и русская история, не подходят под те рамки общеевропейской жизни и общеевропейской истории, под какие подвёл их Карамзин: следует поэтому поискать в русской жизни и в русской истории особенных свойств и законов, на основании которых выведены будут или положительные различия, или более правильные аналогии с европейской жизнью и европейской историей”, – Чаадаев прямо сказал, что в нашей жизни и истории нет никакой аналогии с общечеловеческим, законным развитием», как у племен, отпавших «от целости, от единства с человечеством». Критик защищал Чаадаева от тупоумия обвинений «Маяка», так как его вопрос был «не мозговым, а сердечным», и находил аргументы: «для Чаадаева идея единства человечества облечена была в красоту и величие католицизма», которым он увлекся «с жаждою веры», воспитанием же своим он «был совершенно разобщён с бытом своего народа», прельщённый католицизмом и его идеалами. «Удержаться в границах как Пушкин, он не мог: он обладал только отрицательной стороною пушкинского духа, а не носил в себе, как наш великий поэт, непосредственного чутья народности». В чём же, по мнению А. Григорьева, заключалась ошибка западничества? «Мрачную доктрину добродушного Загоскина считало оно за народное созерцание, клеветы на народность драм Кукольника и Полевого за выражение народности...»

Проблема западничества и народности заставляла Григорьева обратиться в 1861 году к «эпохе» Белинского, к его авторитету, когда отечественная критика стояла «почти всегда *по духу* своему» вровень с германской и «неизмеримо выше» французской, когда литература была «всё для нас», когда убеждения «гениального» критика только и могли считаться «благородными и современными убеждениями и взглядами». Чтобы вникнуть в его понимание народности и русского народа, Григорьев обращается к его статье в «Телескопе» Надеждина (1835) и цитирует автора со своими акцентами: «Я душевно люблю православный русский народ и почитаю за честь и славу быть ничтожной песчинкой в его массе, но моя любовь сознательная, а не слепая. Может быть, вследствие
очень понятного чувства, я не вижу пороков русского народа, нo… не… его странностей». А в чем состоит главная странность русского человека? – «В каком-то своеобразном взгляде на вещи и упорной оригинальности. Его упрекают в подражательности и бесхарактерности; …но этот упрек неоснователен... Русскому человеку вредит совсем не подражательность, а напротив – излишняя оригинальность… он никогда не подражал, а только брал из-за границы формы… и отливал в эти формы свои собственные идеи, завещанные ему предками». Григорьев признавал глубину его замечания о двойственном свойстве русской природы, но упрекал: вместо того, чтобы искать причины «уродливых внешних явлений», он только подводит их «под немилосердный суд западного идеала человека и человечности». Белинский не сознавал сам, насколько непреложность идей, завещанных предками, и внешние формы свидетельствовали «в пользу самобытности народной жизни», что требовало «внимательного углубления в сущность этой самобытности». Отсюда Григорьев заключал, что «основной принцип убеждений Белинского и за ним всего западничества – принцип чисто отрицательный – ненависть ко всему непосредственному, ко всему природному или лучше сказать прирожденному», и что «только отрицанием нашей самости, мы вступаем в семью человечества, что истории у нас нет до Петра и до реформы», и до славян «нам нет дела, потому что они не сделали ничего такого… что наука могла бы видеть в их существовании факт истории человечества», – как говорит он в 1845 году. И он подтверждал это доводами самого Белинского, по мнению которого, русские – «наследники целого мира, не только европейской жизни... не должны… быть англичанами, ни французами, ни немцами», а должны бытъ русскими и взять «как свое все, что составляет исключительную сторону жизни каждого европейского народа», «как элемент для пополнения нашей жизни»: у англичан их промышленность, универсальный практицизм, у немцев науку, у французов моду, формы светской жизни, кухню, учась у них любезности и манерам.

По мнению Григорьева, Белинский приносил народное в жертву общечеловеческому и постепенно терял «всякое сочувствие к народной, непосредственной, безыскусственной поэзии, не только к нашей и славянской в частности, но ко всякой вообще». Отсюда – «все его выходки против народности вообще, против нашей народности, против возможности местной малороссийской литературы и поэзии, против значения Востока в человечестве…» По Григорьеву: нельзя быть русским, не будучи славянином, иначе разрываются «связи с своею сущностью», что ведёт к космополитизму. Доктрину Белинского опровергали факты: Шевченко, исследования Буслаева, общее сочувствие к народности. Заблуждения Белинского коренились в его исторических взглядах с идеей «отвлеченного человечества». Вот и на Грозного – «титаническую» и «вполне русскую личность», «не имея под рукою ни фактов, ни красок для этой фигуры», он набросил «общий байронический тон», отразивши запросы романтической эпохи. Григорьев не может простить ему попытку развенчать «девственно чистый и целомудренный лик Татьяны, – до сих пор еще самый полный очерк русского женственного идеала», попрекавшему её «сухостью и холодностью сердца».

Однако признавал, что «высокое художественное чутье» «выручало его почти всегда и, составляя главную его силу, делало его постоянно вождем жизни, а не служителем теории». «Все заблуждения, промахи, неистовые увлечения Белинского исчезали, сгорали в его огненной речи, в огненном чувстве, в возвышенном, ярком и истинно поэтическом воззрении на жизнь и искусство». Ему было присуще высшее свойство натуры: «неспособность закоснеть в теории против правды искусства и жизни».

Григорьев не соглашался с мнением западников о том, что Петр I «вдвинул нас в круг мировой общественной жизни». Напротив, считал он, нас хотели заставить «повторять чужую жизнь» и «рабски продолжать ее» в науке и быту. Ведь это унижает славянство, а оно – «целый особый отдел индоевропейской расы», «столь же значительный и древний, как эллинство или его любимое германство».

Чуждый европоцентризму, Григорьев поражался «нашей удивительной способности отрицаться от своей собственной жизни в пользу всякой чужой» – «из боязни показаться не европейцами». Он сетует: «Зная тогда много лишнего чужого, мы решительно не знали ничего своего, ни нашего быта, ни нашей истории, ни наших преданий», считая это даже «каким-то *шиком*». Поэтому был против «поверхностного энциклопедизма», «подражательности и пустого космополитизма», выступая за глубокое знание самобытности. Отсюда – его утверждение, звучавшее как заповедь: сила искусства – в органической связи с народностью.

Как постоянно читающий, критик высоко ценил книжную культуру, подчёркивал её значение для развития личности и общества: «Книги для нас не просто книги, предметы изучения или развлечения», так как переходят «непосредственно в жизнь, плоть и кровь» и «изменяют часто всю сущность нашего нравственного мира». И вспоминал о своей читательской жажде в начале 1850-х годов, в пору молодости, когда восстанавливалась обновлённая вера «в грунт, почву, народ»: «Я оживал душою… я верил… рвался навстречу… великим откровениям… Островского… свежим ключам… Писемского». В 1854 году его очень взволновала только что вышедшая книга «Хождения и странствия инока Парфения» с Афона, которая ударила «по одной из самых глубоких струн души русского человека» – по «аскетической струне, которая создала изумительно поэтические обращения к “матери-пустыне”». Она оказалась «совершенно народною», сохранившей «растительную, коренную связь с бытовыми старыми началами» и «будто что-то от живой энергической речи протопопа Аввакума». И стала «наглядным фактом непрерывности органической народной жизни» от XII века до середины XIX, как «легенда, гимн, песня», корни которой уходят к хождениям паломника XII века игумена Даниила. В этой духовной связи времён и поколений, критику виделась «ненасытная жажда идеала, высшего, Бога» и возможность «учиться у жизни».

Для него дорог национальный характер нашей литературы. И хотя у нас литераторы – «жантильомы» (дворяне): Пушкин отождествляется «по какому-то удивительному наитию, с народной речью и даже народным созерцанием», Тургенев весь насквозь проникнут любовью к родной почве. А «жантильомы» Грибоедов, Гоголь, Лермонтов – все они, «неравных сил и неодинакового содержания, решительно не похожи ни на каких писателей других наций; ведь в их физиономию нечего долго и вглядываться, чтобы признать их особенною, русскою физиономией».

Пушкин – уникальный пример соединения европейского и национального начал. Пушкин – «это наше право на Европу и на нашу европейскую национальность» и «право на нашу самобытную особенность» в европейском кругу наций, как она «сложилась из напора реформы и осадков коренного быта», к которому критик готов применить мерки антиподов Гончарова: Обломова и Штольца. Пушкин-Белкин, Пушкин «Капитанской дочки», «Дубровского», «Родословной» – «выразитель нашей почвы, преданий, реакция нашей родной обломовщины, которая, какова она ни на есть, все-таки жизненней штольцовщины». Пушкин весь – «стихия нашей духовной жизни, отражение нашего нравственного процесса, выразитель его, столько же таинственный, как сама наша жизнь…» Критик цитирует отрывок из путешествия Онегина по родным местам:

Иные нужны мне картины:

Люблю песчаный косогор,

Перед избушкой две рябины,

Калитку, сломанный забор,

На небе серенькие тучи,

Перед гумном соломы кучи

Да пруд под сенью ив густых,

Раздолье уток молодых;

Теперь мила мне балалайка

Да пьяный топот трепака

Перед порогом кабака.

Мой идеал теперь – хозяйка,

Мои желания – покой,

Да щей горшок, да сам большой.

Григорьев восклицает: «Поразительна эта простодушная смесь ощущений самых разнородных, негодования и желания набросить на картину колорит самый серый, с невольной любовью к картине, с чувством ее особенной, самобытной красоты!» Это и есть «ключ к самому Пушкину, и к нашей русской натуре вообще». Это чувство – «наше типовое». «А Пушкин – наше всё», «представитель всего нашего *душевного, особенного*», «пока единственный полный очерк нашей народной личности, самородок», «везде соблюдавший меру, сам – живая мера и гармония», он «является русскою мерою чувств» – «и к чувству любви, и к женщине». «Все наши жилы бились в натуре Пушкина».

Последователь и почитатель А. Григорьева, критик Н.Н. Страхов, считал, что Пушкин «составляет величайшую задачу для русской критики», так как самостоятельной и народной русская литература «стала только в Пушкине», и Григорьев смотрел на развитие национальной литературы через объяснение значения Пушкина как центральной точки, показав, как «пробудилось в поэте наше типовое, народное».

Поиск идентичности сопрягался у критика с сопоставлениями авторов и их героев. Определяя Лермонтова как завершителя эпохи «русского романтического брожения», Григорьев находил и самом Лермонтове, и в его Печорине свойства русской натуры, которые доходили «до безысходной хандры, до лермонтовского ожесточения и зловещих предчувствий, до тургеневского раздвоения и расслабления, а в сферах более грубых – до полежаевского цинизма и до запоя Любима Торцова». Печорин был для критика одним «из самых ярких отражений» того типа, в котором выразились «все “необъятные” силы нашего духа» и который «всегда будет увлекать тем, что в нем есть физиологически нашего, а именно – брожением необъятных сил» и «почти демонского холода самообладания». В лермонтовских героях «чуются люди иной титанической эпохи, готовые играть жизнью… затем ли, чтобы оставить по себе страничку в истории, или просто так, из удали». Этим-то Печорин
«не только был героем своего времени, но едва ли не один из наших органических типов героического». Другим же типом критик считал «тип смирного человека». И оба они сложились «в нашем душевном мире».

Печоринский тип Григорьев явно предпочитает (он ему наиболее близок по духу), и его воплощение он находит в других литературных образах: у Пушкина – в «гордой, вольнолюбивой и вместе восточно-эгоистической и ревнивой» натуре Алеко; у Тургенева – прежде всего выделял «демонически-унылого», «со зловещим блеском» Василия Лучинова из «Трёх портретов» (придавая ему «особенную важность», поскольку в нём «старый тип дон-Жуана, Ловласа… принял впервые наши русские, оригинальные формы, формы нашего русского XVIII века»), у Островского – это Любим Торцов и Петр Ильич, у Писемского – «Тюфяк». На его взгляд, «в этот тип вошли наши лучшие соки, наши положительные качества, наши высшие стихии, и в артистически-тонкую, мирскую жажду наслаждения пушкинского Жуана, и в критическую последовательность печоринского цинизма, и в холодное, северное самообладание при бешеной южной страстности Василия Лучинова, и в “прожигание жизни” Веретьева, и загул Любима Торцова». Только эти стихии находились «в состоянии необузданном». И все попытки «окончательно победить обаятельный тип, который в лице Печорина сознает в себе “силы необъятные”, растрачиваемые им на мелочи, тип сильного страстного человека», оказались несостоятельными. Для Григорьева немыслимо предпочесть обаятельному Печорину «очень хорошего» Максима Максимыча: «ведь он тупоумен и по простой натуре своей и не мог впасть в те уродливые крайности, в которые попал Печорин».

И критик аргументирует эти предпочтения: «Мы были бы народ весьма нещедро наделенный природою, если бы героями нашими были пушкинский Белкин, лермонтовский Максим Максимыч и даже честный кавказский капитан в “Рубке леса” Толстого. Значение всех этих лиц в том, что они – критические контрасты блестящего и, так сказать, хищного типа», и – «в протесте всего смиренного, загнанного, но между тем основанного на почве в нашей природе, – против гордых и страстных до необузданности начал, против широкого размаха сил, оторвавшихся от связи с почвою». «Придать этой стороне души нашей исключительное, героическое – значит впасть в другую крайность, ведущую к застою и закиси. Максим Максимыч и капитан Толстого – люди, конечно, очень честные и без всякой похвальбы храбрые», «но с ними немыслима никакая история. Из них не выйдут, конечно, Стеньки Разины, да зато не выйдут и Минины. Увы! На одних добрых и смирных людях… далеко не уедешь. Для жизни страстное начало нужно, закваска нужна». Не признание ли это одной из важнейших черт русской души – её страстности. А ещё: такое рассуждение очень созвучно концепции Льва Гумилёва о пассионариях, как о движителях исторических перемен.

Согласно своему представлению о двух типах русских Григорьев сравнивал не только героев, но и писателей: Пушкина с Достоевским. Натура Пушкина, сохранившая в себе «живую струю народной, широкой и общей жизни, способность и понимать эту живую жизнь, и глубоко ей сочувствовать и временами даже с ней отождествляться», была «по преимуществу синтетическая, одаренная непосредственностью понимания и целостностью захвата». Если Достоевский представил равно оба типа – страстный и смирный, то Пушкин понял их синтезом –
и «синтезом создал и “Русалку”, и Пугачева в “Капитанской дочке”, и старика Дубровского».

В череде литературных персонажей, которые проходят сквозь эпохи, Григорьев находит особое место Чацкому. Он «до сих пор единственное героическое лицо нашей литературы», «прежде всего – честная и деятельная натура, притом натура борца, то есть натура в высшей степени страстная», «правдивая», как старик Гринев, старик Багров, старик Дубровский. Более того, Чацкий имеет ещё историческое значение, поскольку является порождением первой четверти русского XIX века, он «прямой сын и наследник Новиковых и Радищевых, товарищ людей вечной памяти двенадцатого года, могущественная, еще глубоко верящая в себя и потому упрямая сила, готовая погибнуть в столкновении со средою, погибнуть хоть бы из-за того, чтобы оставить по себе “cтраницу в истории”… Ему нет дела до того, что среда, с которой он борется, положительно неспособна не только понять его, но даже отнестись к нему серьезно».

По мнению Григорьева, Лермонтов ещё «сильнее, искреннее» преуспел в создании другого типа: «необузданной, зверской страстности, широкого размаха; необузданных стремлений, неутолимой жажды жизни» (Мцыри, Арсений, Арбенин). Ибо с этим типом у критика связывалась «высшая правда» русской души: ответить отрицанием на самое отрицание, когда с точки правды – «только и возможен поворот к живому чувству… к сознанию идеального в самой жизни, к восстановлению в самом себе связи с ее коренными основами, к обретению их даже в самом себе… лежащими под наносным слоем души». Иначе говоря: дойти до края и вышибить клин клином!

Оценки критика соответствуют его представлениям об идентичности русских: «Мы народ какой-то неуёмный, какой-то грубо-первобытный народ. Мысль у нас не может еще как-то разъединяться с жизнью»; люди «чисто русского закала» – это люди «с серьезной жаждой мысли и жизни», способные «прожигать жизнь или ставить ее на всякую карту».

В этом признании немало чисто личного: известно, что его собственная «неряшливо-разгульная» жизнь в бедности, долгах и беспорядочности не подчинялась общепринятым правилам. Он утверждал, что русская натура «с богатыми стихийными началами и беспощадным здравым смыслом» «верит в свою стихийную жизнь» и способна «доходить до крайних пределов». Вот и Пушкин «всё наше перечувствовал» как цельная русская натура. Ему видится в русской натуре «едва ли не одинаковое, едва ли не равномерное богатство сил, как положительных, так и отрицательных». О наших качествах смирения, незлопамятности ему даже не хочется говорить: они «давно признаны всеми, хотя без всякой меры, до пересолу славянофилами», и на них одних, «хотя и действительно прекрасных», «мы бы далеко не уехали». Он больше говорит о чертах нашей «богатой стихийной природы», о её «тревожных, порывающих в широкую даль началах» вплоть – до крайних пределов, что порождает «состояние страшной борьбы» (как это характерно для русского романтизма). Эта борьба отразилась в Пушкине – как «момент нашей духовной жизни». И его Онегин – во многом «все-таки русский человек». В Онегине – «мрачный сплин и язвительный скептицизм» байроновского Чайльд-Гарольда заменился «хандрою от праздности, тоскою человека, который внутри себя гораздо проще, лучше и добрее», который наделён «критической способностью здорового русского смысла» – «прирожденною, но не приобретенною». И его Дон Жуан – тоже другой, не европейский: тип, который создаётся «из южной, даже африканской страстности, но смягченной русским тонко-критическим чувством, из чисто русской удали, беспечности, какой-то дерзкой шутки с прожигаемою жизнью, какой-то безусталой гоньбы за впечатлениями». Крайности русского человека находили у критика свои объяснения: мы «разоблачаем безжалостно и даже иногда легкомысленно безжалостно заветнейшие чувства наши, посмеиваясь над ними и многими дорогими образами», что происходит «от глубокого, вполне русского, то есть цельного увлечения великими идеалами». Тем самым он признавал духовность как высшую планку крайностей.

Насмешливость – тоже национальное свойство. Русские, «нещадно смеясь над всем», что несообразно с их «душевной мерой», отличаются от других народов, особенно от немцев, «совершенно не способных к комизму», даже в том, что, любя праздники и нередко прожигая целую жизнь, не могут «мешать дел с бездельем».

Вот и у родителя своего Григорьев находит такое качество: «Отец мой, несмотря на свой замечательный ум и на достаточное, хотя внешнее и потому совершенно заглохшее без пользы для него и для других образование, был по натуре юморист, и юморист, как всякий русский человек, беспощадный». Гоголевский юмор не сравним с английским, немецким, так как для русских неприемлемы европейские мещанские, сентиментальные, подчас пошлые, приторные герои. Русские тоже любят добрые образы. Но для них идеалы правды, красоты и добра в том виде, как они проявляются, например, у Диккенса, «чрезвычайно узки», а его «жизненное примирение» – «довольно неудовлетворительно, чтобы не сказать пошло». Русские не могут любить только за одну доброту, предпочитают соединять с ней «смышленость, здоровый ум, известный юмор», даже с примесью «маленькой грязцы».

Русскую сущность, русскую душу как органическую целость (вопреки разладам между западниками и славянофилами, с их предпочтениями послепетровской и допетровской Руси) Григорьев чувствовал в народной песне: она – отражение народного сознания, первобытный источник литературы. Сам любил петь под гитару и разбирался в типах песенного исполнения. Ему доводилось слушать певцов-самородков, и он понял: «Никакие ученые диссертации не разъяснили бы мне характера великорусской песни как одна ночь этого пения, широкого, могучего, переливающегося тихим огнём по жилам». Особенно ценил тип «совершеннейший», для которого пение было «служением», не нарушавшим чистоту мотива. – «Весь пламень чувства у него в вибрации голоса… способного тянуться долго до бесконечности, подниматься фистулою на высоту и дрожать грудным тембром, колебаться волнообразно и даже ныть, как ноет сердце», – вспоминал он. В отличие от европейских песен – предмета «археологического любопытства» – русская и славянская песня «доселе живёт и *растёт* в народе», «родится и живёт как растение». «Русская песня не так легко даётся в руки», «не любит выставляться напоказ», и кто сумел подойти к ней, она «льётся свободно, бесконечно, разнообразно», дышит «свежим воздухом великорусского края». Ей свойственна размашистость, заунывная или разгульная широкость, «человек почти совсем поглощён природою». Вот и «самые первые песни» Некрасова несут в себе «что-то такое своё, особенное, некрасовское», что коренится органически в самом существе русской национальности». Даже в плохой народной песне новых времен вдруг обнаруживается «самый верный исторический такт, самая странная политическая память», «столь ошеломляюще» действующая на образованных людей.

Для критика важнейшим вопросом является неразрывная связь искусства с нравственностью, с идеалом, мерой, гармонией: куда не вписывается ни Байрон, ни Санд. Искусство для него есть «выражение правды жизни», а в правде – его искренность, нравственность, объективность.

Историзм Григорьева поистине романтический, ибо историческому рассуждению века Просвещения он противопоставляет историческое чувство – наше, без нашего ведома непосредственное приобретение: это *«чувство органической связи между явлениями жизни, чувство цельности и единства жизни»*, неразрывное с идеалом и верой в историю.

Неслучайно Аполлон Григорьев запомнился его современнику, театральному критику Д.В. Аверкиеву больше всего теорией «органической критики», согласно которой литература и искусство должны вырастать из национальной почвы (отсюда и название «почвенники» для его последователей) и который находил органические черты прежде всего у Пушкина и Островского. Григорьев «любил все русское просто потому, что оно русское». «Органичная» русскость была для него «абсолютной ценностью». Так, и К. Леонтьев писал о нём: «Мы часто ищем *русских* лиц. Вот вам одно из них; он был похож только на *русского* и ещё на *себя самого*».

Н. Ильин – исследователь русской философии, признавал уникальность прозрения критика: «А. Григорьев был первым в русской философии (и, полагаю, так же и в европейской), кто совершенно ясно отвергнул какое-либо поклонение идолу “человечества” и не просто отвергнул, но и разоблачил этого идола силою самостоятельной мысли». Н.Н. Страхов считал Григорьева «истинным создателем русской критики», поскольку для него «каждое художественное произведение представляет отражение своего века и своего народа» и существует «неразрывная связь между настроением народа, его своеобразным душевным складом, событиями его истории, его нравами, религиею и прочим» и созданиями национальных авторов. Более того, по мнению Страхова, Григорьев видел, что все явления литературы имеют «один общий корень, что все они суть частные и временные проявления одного и того же духа», что художественные произведения способны отразить «душевную сущность» народа и вечные требования «души человеческой, ее неизменных законов и стремлений».

Лицо народа критик выразил в типах, которые органически вырастали «на корне национальности». Именно понятие типа у Григорьева стало «руководящей категорией для постижения национальности в ее конкретном культурно-историческом существовании». Одновременно происходило слияние темы народности и темы личности. Григорьев ставил вопрос о ведущем значении личности, о её передовом положении в борьбе за народность, так как искание своей народности составляло характерную особенность всех замечательных русских людей.

Воспринимая литературу как самый чувствительный инструмент познания общества, народа, человека, критик определял дух народа прежде всего по художественным произведениям. Григорьев сознавал свою национальную идентичность, доказывал, что литература и русские писатели являются главными носителями самоопределения нации, и тем вносил вклад в развитие русского самосознания.